

12+

ГОЛОД И АМБИЦИИ

И. И. ЗАЙНУЛЛИН

НЕ ТВОЁ
МЕСТО
НЕ ТВОИ
ПРАВИЛА

СВОБОДА

ЦЕЛЬ

ДЕЙСТВИЯ

СТРАТЕГИЯ

ЗНАНИЯ

РИСК

ДИСЦИПЛИНА

Ильвир Зайнуллин

Голод и амбиции

<https://litres.ru/74150849>

ISBN 9785007008402

Аннотация

Рожденный в бедности, он с детства жил в мире дефицита — еды, возможностей, будущего. Но именно голод стал его внутренним двигателем. Из среды, где заранее всё предопределено, он выстраивает путь, который ломает привычные границы и меняет правила игры. Это история о том, как формируются амбиции, когда единственная альтернатива — оставаться на нуле. О цене роста, который невозможно остановить.

Содержание

Предисловие	5
Глава 1. Хлеб с сахаром	7
Глава 2. Деньги на обед	12
Глава 3. Вечер без света	18
Глава 4. Чужие деньги	24
Глава 5. Первый рубль	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Голод и амбиции

**Ильвир Ирекович
Зайнуллин**

© Ильвир Ирекович Зайнуллин, 2026

ISBN 978-5-0070-0840-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Эта книга не про успех. И не про деньги. И даже не про миллиарды, хотя именно они будут постоянно мелькать на её страницах.

Она про состояние, в котором человек впервые перестаёт принимать свою реальность как данность — не из любопытства, не из вдохновения, а из внутреннего давления, которое невозможно игнорировать.

Голод — это не всегда про отсутствие еды. Чаще это про отсутствие выбора. Про узкие комнаты, где решения уже приняты до тебя. Про утро, в котором ты заранее знаешь, что день не изменит ничего. Про тишину, в которой нет будущего, а есть только повторение.

Амбиции — это не мечты. Мечты могут быть безопасными. Амбиции — нет. Они всегда требуют движения, даже если движение разрушает прежнюю жизнь. Они не спрашивают, готов ли ты. Они просто начинают работать внутри тебя как отдельная логика, которой ты больше не управляешь.

Иногда человек рождается в мире, где всё уже распределено. Где «вверх» — это абстракция, которую можно обсуждать, но нельзя проживать. И тогда голод становится не слабостью, а точкой запуска. Неприятной, резкой, но честной.

Эта история — не инструкция и не мотивация. В ней нет обещания, что путь повторим. И нет уверенности, что он

должен быть повторён.

Это история о том, как система бедности формирует мышление. Как мышление начинает конфликтовать с реальностью. И как из этого конфликта рождается движение, которое постепенно перестаёт быть личным и становится структурой.

Иногда путь начинается не с цели, а с нехватки. И иногда эта нехватка становится настолько сильной, что превращается в единственный двигатель, который не выключается даже тогда, когда всё остальное уже должно было остановиться.

Эта книга для тех, кто хотя бы раз чувствовал, что ему тесно в своей точке старта — и не знал, является ли это разговором или началом.

Ответа здесь не будет.

Но будет история, в которой этот вопрос становится движением.

Глава 1. Хлеб с сахаром

Иван научился чувствовать голод задолго до того, как понял, что у этого чувства есть название, и задолго до того, как в его жизни появились хоть какие-то слова, способные объяснить происходящее; голод не был для него чем-то внезапным или острым — он был фоном, постоянным состоянием, как холодный воздух в комнате или тусклый свет лампы под потолком, и потому он не спрашивал, когда будет еда, не жаловался и не плакал, а просто ждал, внимательно прислушиваясь к звукам на кухне, где решалась его маленькая, но единственная в тот момент судьба.

Кухня была узкой и вытянутой, с облупленной зелёной краской на стенах, которую когда-то пытались освежить, но бросили на полпути, и с батареей, покрытой слоями старой пыли и жирной копоти, от которой шёл слабый металлический запах, смешанный с запахом вчерашнего супа; окно запотевало даже летом, и по стеклу стекали мутные дорожки, будто дом сам медленно плакал, не имея ни сил, ни смысла это скрывать, а на подоконнике стояла треснувшая банка с ложками — все разные, тяжёлые, как будто собранные из чужих жизней.

Его мать стояла у стола спиной к нему, чуть сгорбившись, и в её движениях было что-то не просто усталое, а экономное, будто она берегла не только силы, но и каждое лишнее

движение, каждое усилие, словно всё в этом доме подчинялось одному негласному закону — не тратить больше, чем есть; нож в её руке двигался медленно, почти осторожно, разрезая чёрствый батон не столько на куски, сколько на возможные дни вперёд, и Иван смотрел на это так внимательно, как дети обычно смотрят на что-то важное, хотя сам ещё не мог объяснить, почему от этого зависит так много.

— Не подходи, — сказала она, не оборачиваясь, и голос её был ровным, без раздражения, но с той привычной твёрдостью, в которой не было места обсуждению. — Горячо.

Хлеб не был горячим, и он это знал так же точно, как знал, что лучше не спорить, потому что спорить — значит привлекать внимание, а внимание в их доме редко приносило что-то хорошее; он остановился у косяка, прижавшись плечом к холодной стене, и замер, стараясь даже дышать тише, будто от этого зависело, получит ли он свою долю или нет, хотя никто никогда не говорил этого вслух.

На столе появился кусок — тонкий, неровный, почти прозрачный по краям, и мать, открыв банку, аккуратно посыпала его сахаром, стряхивая остатки так, будто вытряхивала не просто сладость, а последние крупички чего-то более важного, чего в этом доме всегда не хватало; сахар ложился редкими, неравномерными точками, и Иван смотрел на них с напряжённым вниманием, словно пытался запомнить, сколько именно ему сегодня «разрешено».

— Это тебе, — сказала она, и в этих двух словах не было

ни тепла, ни холода — только факт, сухой, как сам хлеб.

Он подошёл медленно, почти осторожно, взял кусок обеими руками, будто боялся, что тот может исчезнуть, если держать его слишком свободно, и сел за стол, чувствуя под пальцами шероховатую поверхность, в которую въелись старые пятна, следы чужих завтраков и ужинов, которых он не помнил, но которые, казалось, были частью той же бесконечной нехватки.

Он ел медленно, не потому что его учили манерам, а потому что скорость была врагом: если съесть быстро — станет ясно, что этого мало; если растянуть — можно обмануть себя хотя бы на несколько минут, и сахар тихо скрипел на зубах, а хлеб крошился, осыпаясь на стол, и каждая крошка была слишком ценной, чтобы её оставить, поэтому он собирал их пальцами, аккуратно, сосредоточенно, и отправлял в рот, не поднимая глаз.

Он всегда доедал всё до конца, потому что однажды уже сделал ошибку — оставил кусочек «на потом», поверив, что потом обязательно будет, и этого «потом» не случилось, и память об этом была не столько мыслью, сколько телесным ощущением, тихой тревогой, которая не давала ему больше повторять подобного.

— Ты не привыкай, — сказала мать, чуть громче, чем раньше, словно эта мысль была для неё важнее всего остального. — Это не каждый день.

Он кивнул, хотя она по-прежнему стояла к нему спиной,

и кивок был скорее жестом для самого себя, чем для неё, потому что он уже начинал понимать: слова в этом доме нужны не для того, чтобы объяснять, а для того, чтобы закреплять правила, которые нельзя нарушать.

— Надо жить по средствам, — добавила она, и теперь в её голосе появилась жёсткость, почти раздражение, будто сама эта фраза была чем-то, что приходилось повторять слишком часто. — Понял?

Он снова кивнул, не до конца понимая смысл, но очень точно улавливая интонацию, и потому запоминая не столько слова, сколько их вес, их холод, их окончательность; «жить по средствам» для него в этот момент стало означать нечто простое и одновременно тяжёлое — есть медленно, не просить больше, чем дали, не задавать лишних вопросов и, главное, не ожидать, что завтра будет лучше, потому что ожидания в их доме всегда оказывались ошибкой.

Он доел хлеб, провёл пальцем по столу, собирая последние крупинки сахара, и облизал его, задержав это движение на долю секунды дольше, чем нужно, словно пытаясь продлить ощущение, которое уже уходило, растворяясь так же быстро, как и появилось.

И именно в этот момент, когда вкус исчез, а голод остался на месте, внутри него впервые возникло нечто новое — не мысль, не слово, а плотное, почти физическое ощущение, тяжёлое и тёмное, как если бы внутри что-то сжалось и стало твёрже: тихая, ещё не оформленная, но уже упрямая уве-

ренность в том, что так жить он не будет, что это состояние — не норма, не судьба, а ошибка, которую однажды можно будет исправить.

Он ещё не знал, как именно это сделать, не знал ни одного пути, ни одного примера, ни одного человека, который показал бы, что бывает иначе, но уже в этот момент начал испытывать к происходящему не просто усталость или грусть, а медленно нарастающую, холодную ненависть — не к матери, не к дому, а к самой бедности, которая проникала во всё, лишая даже простые вещи права быть достаточными.

Глава 2. Деньги на обед

Школа пахла варёной капустой, мокрыми тряпками и чем-то ещё, едва уловимым, но устойчивым — запахом чужих тел, тесно прижатых друг к другу в узких коридорах, где не было ни воздуха, ни пространства, ни возможности остаться одному хотя бы на минуту, и Иван с первых дней понял, что здесь действует тот же самый закон, что и дома, только в более грубой, открытой форме: если у тебя чего-то нет, это обязательно заметят, и рано или поздно заставят за это заплатить.

Он сидел за третьей партой у окна, которое не открывалось даже весной, и смотрел на двор, где асфальт был разбит на серые, неровные куски, между которыми пробивалась редкая, упрямая трава, и ему казалось, что эта трава чем-то похожа на него самого — такая же лишняя, такая же случайная, выросшая там, где для неё не было места, и потому никому не нужная.

Урок тянулся медленно, вязко, слова учительницы расплывались, превращаясь в однообразный шум, который не требовал внимания, и единственное, что имело значение, — это стрелки на часах над доской, потому что за звонком следовало то, чего он ждал и одновременно боялся каждый день: перемена, а вместе с ней — столовая.

Когда прозвенел звонок, класс оживился мгновенно, как

будто в него впустили воздух, дети задвигались, зашумели, заскрипели стульями, и почти все одновременно потянулись к дверям, обсуждая, что сегодня дают, и кто что возьмёт, и в этих разговорах звучало что-то лёгкое, привычное, будто еда была не вопросом, а просто частью дня, такой же естественной, как разговор или смех.

Иван не встал сразу; он подождал, пока большинство выйдет, и только потом медленно поднялся, поправил рукав рубашки, который давно растянулся и не держал форму, и направился в коридор, стараясь держаться ближе к стене, чтобы не задевать других и, по возможности, не привлекать внимания.

Очередь в столовую была длинной и плотной, дети стояли вплотную друг к другу, кто-то толкался, кто-то смеялся, кто-то уже держал в руках деньги, заранее приготовленные, сжатые в кулаке, и Иван смотрел на эти купюры так, как раньше смотрел на сахар на хлебе — внимательно, почти напряжённо, будто пытаюсь понять, сколько именно стоит быть как все.

Он знал, что у него нет денег, и знал это заранее, ещё утром, когда мать, не глядя на него, сказала коротко: «Сегодня без обеда», — и в этих словах не было ни оправдания, ни объяснения, только констатация, как если бы речь шла о погоде или о чём-то, на что нельзя повлиять.

Очередь двигалась медленно, и вместе с ней двигался он, шаг за шагом, чувствуя, как внутри нарастает напряжение,

не голод — к нему он привык, — а именно напряжение, связанное с моментом, когда придётся остановиться, выйти из потока, стать заметным, стать тем, у кого нет.

Когда до раздачи осталось всего несколько человек, он сделал то, что делал уже не первый раз: отошёл в сторону, будто вспомнил что-то важное, и встал у стены, пропуская других вперёд, делая вид, что просто ждёт, хотя на самом деле ждал только одного — чтобы очередь закончилась без него.

— Ты чего не берёшь? — голос прозвучал неожиданно близко, и он вздрогнул, обернувшись.

Перед ним стоял мальчик из параллельного класса, высокий, с круглым лицом и красными щеками, в руках у него уже был поднос с тарелкой супа и компотом, и он смотрел на Ивана с простым, прямым любопытством, в котором не было злобы, но была опасная наивность — та самая, что легко превращается в насмешку.

— Не хочу, — ответил Иван быстро, почти автоматически, опуская взгляд.

— В смысле не хочешь? — мальчик удивился искренне. — Там котлеты сегодня.

Слово «котлеты» прозвучало тяжело, почти материально, и на секунду Иван почувствовал, как внутри что-то болезненно сжалось, но лицо его осталось неподвижным.

— Я дома поем, — сказал он, и сам услышал, как неуверенно это звучит.

Мальчик пожал плечами, как будто потерял интерес, и уже собирался уйти, но в этот момент рядом остановились ещё двое, и разговор, который мог закончиться, вдруг продолжился.

— У него денег нет, — сказал один из них тихо, но так, чтобы было слышно, и в этом «тихо» было больше точности, чем в крике.

Иван поднял глаза.

На него смотрели.

Не все, но достаточно, чтобы стало понятно: теперь это уже не просто момент, а ситуация, в которой он — центр, причина, повод.

— Да ладно? — тот, с подносом, снова посмотрел на него, теперь уже иначе, внимательнее. — Серьёзно?

Иван ничего не ответил.

Он почувствовал, как к лицу приливает тепло, как будто его поставили слишком близко к огню, и одновременно — холод в груди, плотный, знакомый, такой же, как дома, только теперь он был на виду, открытый, лишённый возможности спрятаться за тишиной кухни или спиной матери.

— Держи, — вдруг сказал кто-то и протянул ему кусок хлеба с подноса, не новый, уже надломленный, с отпечатками пальцев по краю.

Этот жест не был добрым.

Он был хуже, чем смех.

Потому что в нём была жалость.

Иван посмотрел на хлеб, потом на руку, которая его держала, и в этот момент внутри него произошло что-то резкое, почти болезненное, как если бы его ударили не снаружи, а изнутри.

— Не надо, — сказал он тихо, но отчётливо.

— Бери, чего ты, — усмехнулся тот. — Жалко, что ли?

И вот это слово — «жалко» — стало последней точкой.

Он оттолкнул руку.

Не сильно, но достаточно, чтобы кусок хлеба упал на пол.

Разговор оборвался.

На секунду стало тихо.

А потом кто-то хмыкнул, кто-то отвернулся, и поток снова двинулся, как будто ничего не произошло, потому что для всех остальных это действительно было ничем — коротким эпизодом, который забудется уже к следующему уроку.

Для всех, кроме него.

Он вышел из столовой, не оглядываясь, прошёл по коридору быстрее, чем обычно, и остановился только у лестницы, где было пусто и чуть прохладнее, чем в остальной школе, и там, опираясь ладонью о холодные перила, он впервые позволил себе не думать, а просто стоять, слушая, как бьётся сердце — слишком быстро, слишком громко.

Голод никуда не делся.

Но к нему добавилось что-то новое.

Чёткое, жёсткое, почти ясное.

Не брать.

Никогда.

Ни у кого.

Потому что вместе с этим всегда дают что-то ещё — взгляд, слово, место, которое тебе определяют раз и навсегда.

И в этот момент, стоя у лестницы с пустым желудком и сжатой до боли челюстью, он сделал для себя второе, не менее важное решение, чем то, что родилось на кухне:

лучше не иметь, чем брать с унижением.

Он ещё не понимал, сколько это решение будет стоить ему позже.

Но уже принял его полностью.

Глава 3. Вечер без света

В тот день он шёл домой медленнее обычного, не потому что устал или хотел оттянуть момент возвращения, а потому что внутри него оставалось неприятное, вязкое ощущение, словно разговор в столовой не закончился, а просто затих, спрятался где-то глубже и теперь продолжался без слов, в каждом шаге, в каждом взгляде на прохожих, которые спешили мимо, не замечая его, но тем самым только усиливая это странное чувство — быть лишним, незаметным, и в то же время каким-то образом выставленным напоказ.

Двор встретил его привычной серостью: перекошенные лавки, облезлая детская горка с металлическими ступенями, которые зимой примерзали к подошве, и куча мусора у подъезда, которую убирали нерегулярно, словно и она была частью этого места, такой же постоянной, как трещины в асфальте; несколько мужчин стояли у подъезда, разговаривали громко, перебивая друг друга, и от них тянуло резким запахом дешёвого алкоголя, который Иван узнавал безошибочно, потому что этот запах был ему слишком знаком.

Он прошёл мимо, не поднимая глаз, стараясь не зацепить ничьего внимания, и быстро вошёл в подъезд, где пахло сыростью, кошачьей мочой и чем-то старым, затхлым, как будто сам воздух здесь давно перестал обновляться; лампочка на первом этаже мигала, давая неровный, уставший свет, ко-

торый не столько освещал, сколько подчеркивал грязь стен и облупившуюся краску на перилах.

Он поднялся на свой этаж, остановился перед дверью и на секунду прислушался — это было привычкой, выработанной неосознанно: по звукам за дверью можно было понять, в каком настроении сегодня дом, и, соответственно, как себя вести; было тихо, слишком тихо, и это настораживало больше, чем крики.

Он открыл дверь и вошёл.

В квартире было полутемно.

Свет не горел ни в кухне, ни в комнате, и только из окна пробивался слабый вечерний сумрак, который делал пространство плоским, лишённым глубины, как будто всё вокруг стало декорацией, потеряв естественность.

— Мам? — позвал он негромко.

Ответа не было.

Он прошёл на кухню, провёл рукой по стене, нащупал выключатель и нажал — ничего не произошло; он нажал ещё раз, сильнее, будто от этого что-то могло измениться, но свет не включился, и тогда стало ясно: электричество отключили.

Это тоже было не в первый раз.

Он стоял посреди кухни, глядя на тёмный стол, на знакомые очертания предметов, которые теперь казались чужими, и чувствовал, как в груди медленно поднимается то же самое напряжение, что и днём, только теперь оно было глубже, тяжелее, потому что здесь, дома, не было ни свидетелей, ни

возможности сделать вид, что всё нормально.

Дверь в комнату скрипнула, и на пороге появилась мать.

— Пришёл? — спросила она, и в её голосе не было ни вопроса, ни интереса, только усталость, плотная, как одеяло, которое невозможно скинуть.

— Света нет, — сказал Иван, хотя это было очевидно.

— Знаю, — ответила она коротко и прошла мимо, задевая плечом косяк, будто не рассчитала расстояние.

Она выглядела старше, чем утром, как будто за эти несколько часов что-то внутри неё окончательно осело, утяжелило движения, сделало их ещё более медленными и точными, но уже не от экономии, а от нехватки сил.

— Когда включат? — спросил он.

Она остановилась у стола, опёрлась ладонями о край и на секунду закрыла глаза.

— Когда заплатим, — сказала она, не открывая их.

Эта фраза прозвучала спокойно, почти равнодушно, но в ней было что-то окончательное, как приговор, который не обсуждают.

Иван молчал.

Он уже начинал понимать, что слово «заплатим» в их доме означает не действие, а проблему, растянутую во времени, и чем дольше она тянется, тем тяжелее становится.

— Я сегодня без обеда был, — сказал он вдруг, сам не до конца понимая, зачем говорит это.

Мать посмотрела на него.

Взгляд был короткий, быстрый, но в нём мелькнуло что-то — не сочувствие и не раздражение, а скорее усталое признание факта, который не требует обсуждения.

— И что? — спросила она.

Он не ответил.

Потому что в этом «и что» уже был ответ на любой возможный вопрос.

Она отвернулась, открыла шкаф, достала кастрюлю и поставила на стол, хотя было ясно, что готовить не на чем.

— Надо терпеть, — сказала она спустя паузу, не глядя на него. — Все так живут.

Иван почувствовал, как внутри что-то снова сжалось.

Не от слов.

От их привычности.

«Все так живут» — это означало, что ничего менять не нужно, что это не временно, не случайно, а нормально, и именно это слово — «нормально» — было самым тяжёлым, потому что превращало любую нехватку в правило.

— Я не буду так жить, — сказал он тихо.

Он не собирался говорить это вслух.

Фраза вышла сама.

Мать медленно повернулась к нему.

— Чего? — переспросила она, и в голосе впервые за вечер появилась жёсткость.

— Ничего, — быстро сказал он.

Она смотрела на него ещё несколько секунд, как будто пы-

талась понять, услышала ли правильно, но потом отвернулась, и напряжение, возникшее на мгновение, снова опало, вернувшись в привычное состояние тяжёлой тишины.

— Много не хоти, — сказала она уже спокойнее. — А то больно будет.

И вот это было новым.

Не «нельзя».

Не «не получится».

А именно — «больно будет».

Как предупреждение.

Как опыт, который она не объясняла, но передавала.

Иван кивнул.

Но внутри него уже происходило другое.

Он стоял в тёмной кухне, где не было света, еды и уверенности в завтрашнем дне, слушал слова, которые должны были его остановить, ограничить, вписать в те же рамки, в которых жила его мать, и чувствовал, как эти слова не исчезают, не отскакивают, а оседают внутри — но не как правила, а как что-то, чему нужно сопротивляться.

Он подошёл к окну.

На улице зажигались огни — в других окнах, в других квартирах, где свет был, где, возможно, ужин уже стоял на столе, где никто не говорил «надо терпеть» так спокойно, как здесь.

И именно в этот момент, глядя на эти окна, он впервые ясно почувствовал разницу.

Не абстрактную.

А конкретную, почти осязаемую.

Есть те, у кого есть.

И есть те, у кого нет.

И между ними — не расстояние.

А граница.

Которую никто не собирается стирать.

Он стоял долго, пока глаза не привыкли к темноте, и в какой-то момент перестал различать отдельные огни — они слились в одно размытое пятно, как будто мир по ту сторону окна был недоступен не только физически, но и по какому-то другому, более глубокому закону.

И тогда внутри него окончательно оформилось ещё одно решение.

Не просить.

Не ждать.

И не верить, что кто-то придёт и включит свет.

Потому что если свет и появляется, то только там, где за него платят.

А значит, единственный способ выйти из темноты — однажды научиться платить самому.

Глава 4. Чужие деньги

Зима пришла резко, без перехода, как будто город просто в один день решил стать холодным и чужим, и вместе с этим изменилось всё — звуки стали глуше, шаги тяжелее, лица закрылись шарфами, а расстояние между людьми, казалось, увеличилось, хотя они всё так же стояли в тех же очередях, сидели за теми же партами и проходили по тем же коридорам, но теперь каждый был как будто чуть больше сам по себе, чуть дальше от других.

Иван чувствовал это особенно остро по утрам, когда выходил из подъезда и холод сразу же забирался под одежду, находя все слабые места — тонкую куртку, растянутые рукава, слишком лёгкие ботинки, которые быстро промокали, стоило только наступить в снег, перемешанный с грязью; он шёл в школу, опустив голову, стараясь идти быстрее, но не слишком, чтобы не выглядеть так, будто он спешит убежать от чего-то, потому что спешка тоже привлекает внимание.

В тот день всё началось с мелочи, которую он сначала даже не заметил.

На первой перемене в классе стало шумно — громче, чем обычно, с каким-то возбуждением, которое быстро распространяется, когда происходит что-то непривычное; кто-то встал со своего места, кто-то повернулся, и взгляды начали сходиться в одну точку, как это всегда бывает, когда появля-

ется повод отвлечься от скуки.

Иван сначала не реагировал.

Он привык не реагировать.

Но шум усилился, и в какой-то момент он всё-таки поднял глаза.

У доски стоял мальчик — новый, он появился в классе всего несколько дней назад, но уже успел стать заметным, не потому что говорил громко или вёл себя вызывающе, а потому что выглядел иначе; на нём была чистая, аккуратная форма, куртка — новая, не растянутая, не потёртая, а в руках он держал кошелёк, из которого доставал деньги.

Настоящие.

Не мятые купюры, сложенные вчетверо, как у некоторых, а ровные, почти хрустящие, которые он перебирал пальцами без напряжения, как будто это было естественным продолжением его движений.

— Батя дал, — сказал он, отвечая на чей-то вопрос, и в голосе не было ни хвастовства, ни оправдания — только спокойная уверенность, которая не требует подтверждений.

— Сколько там? — спросил кто-то.

— Не знаю, — пожал плечами он. — Хватает.

Это слово — «хватает» — прозвучало странно.

Как противоположность всему, к чему привык Иван.

Хватает — значит, не считаешь.

Хватает — значит, не думаешь, что будет завтра.

Хватает — значит, можно просто взять.

Он смотрел на эти деньги не отрываясь, и в этот момент в нём не было зависти в привычном смысле, той резкой, болезненной реакции, которую он уже испытывал раньше; это было что-то другое — более тихое, но более глубокое, как будто он впервые увидел не просто чужую вещь, а другой способ существования.

— Пойдём в буфет, — сказал кто-то.

И группа сразу же задвигалась, потянулась к двери, и новый мальчик пошёл вместе со всеми, убирая кошелёк в карман легко, без осторожности, без привычного напряжения, которое всегда сопровождало любые деньги в мире Ивана.

Иван встал.

Не сразу, чуть позже.

И пошёл следом.

Буфет был меньше столовой, но шумнее, потому что здесь всё происходило быстрее — короткие разговоры, быстрые покупки, запах сладкого, выпечки, чего-то жареного, и деньги переходили из рук в руки так часто, что казалось, будто именно здесь сосредоточена вся жизнь школы.

Он встал в стороне.

Как всегда.

Но теперь он смотрел не на еду.

А на деньги.

Новый мальчик подошёл к прилавку, сказал: «Дайте два пирожка и сок», — и не глядя протянул купюру, как будто между желанием и его исполнением не было никакого про-

межутка, никакой паузы, никакого сомнения.

Продавщица быстро отсчитала сдачу.

Он даже не пересчитал.

Просто убрал в карман.

И отошёл.

Иван заметил это сразу.

Именно этот момент.

Не покупку.

А то, что он не проверил.

Не убедился.

Не напрягся.

Как будто у него не было причины сомневаться.

Как будто мир изначально настроен так, чтобы не обмануть его.

И вот это было самым чужим.

Самым непонятным.

Самым невозможным.

— Будешь? — новый мальчик протянул ему один из пи-рожков, заметив его взгляд.

Снова этот жест.

Снова выбор.

Иван замер.

На секунду.

Внутри всё уже было готово к отказу — к привычному, выученному «не надо», которое защищает от унижения, от зависимости, от лишнего взгляда.

Но в этот раз что-то остановило его.

Не желание.

Не голод.

А интерес.

Он смотрел не на пирожок.

А на руку, которая его держала.

На то, как легко это происходит.

Без подтекста.

Без насмешки.

Без «жалко».

Просто — есть, значит, можно дать.

— Бери, — сказал тот. — У меня ещё есть.

Иван взял.

Медленно.

Осторожно.

Как будто проверяя, не изменится ли что-то в лице, в голосе, в отношении.

Но ничего не изменилось.

Новый мальчик уже отвлёкся, разговаривал с кем-то другим, смеялся, ел, и этот жест — отдать — не имел для него значения.

А для Ивана имел.

Он стоял с этим пирожком в руке и чувствовал странное смешение — благодарность, осторожность, напряжение и что-то ещё, новое, что не укладывалось в привычные рамки.

Он откусил.

Тесто было тёплым.

Сладким.

И впервые за долгое время еда не была связана с расчётом, с делением, с ожиданием, что её не хватит.

И именно в этот момент он понял ещё одну вещь.

Деньги — это не только про еду.

И не только про тепло.

И даже не только про возможность не считать.

Деньги — это про свободу от объяснений.

Если у тебя есть — ты не объясняешь, почему берёшь.

Если у тебя есть — ты не думаешь, как выглядишь со стороны.

Если у тебя есть — ты просто живёшь.

Он доел пирожок до конца.

Без крошек.

Без привычной осторожности.

И впервые не почувствовал за это вины.

Но вместе с этим внутри него окончательно оформилось новое, более чёткое понимание:

брать можно.

Но только тогда, когда у тебя есть что-то своё.

Чтобы не быть должным.

Чтобы не быть снизу.

Чтобы однажды самому протягивать руку — и не думать об этом вообще.

И с этого дня он начал смотреть на деньги иначе.

Не как на редкость.

Не как на случайность.

А как на единственную вещь, которая меняет положение человека в мире.

Глава 5. Первый рубль

Мысль о деньгах не исчезла после буфета, не растворилась в привычной школьной суете и не ушла вместе с последним звонком — наоборот, она осталась с ним, как остаётся заноза под кожей: незаметная на первый взгляд, но постоянно дающая о себе знать при каждом движении; Иван шёл домой и ловил себя на том, что смотрит не на людей, не на машины, не на дорогу, а на мелкие, почти случайные детали, которые раньше не имели значения — на монеты в руках прохожих, на то, как кто-то расплачивается в киоске, на то, как быстро деньги исчезают из одной ладони и появляются в другой.

Ему вдруг стало ясно, что деньги не появляются «где-то», как ему раньше казалось, не возникают из ничего и не исчезают бесследно — они всё время движутся, переходят, меняют владельцев, и в этом движении есть какая-то закономерность, которую он пока не понимал, но уже чувствовал, как чувствуют холод ещё до того, как осознают, что замёрзли.

Во дворе, возле мусорных баков, стоял мужчина — не из тех, кто собирался компаниями у подъезда, а другой, более тихий, с серым лицом и внимательными глазами, который перебирал содержимое контейнера не торопясь, аккуратно, как будто искал не просто вещи, а что-то конкретное, заранее известное только ему.

Иван замедлил шаг.

Обычно он проходил мимо таких людей, стараясь не смотреть, не задерживаться, как будто невидимость могла защитить его от самого факта их существования, но сегодня он остановился чуть в стороне, наблюдая.

Мужчина достал несколько пустых бутылок, стряхнул с них остатки жидкости, сложил в мешок, потом нашёл ещё одну, посмотрел на неё, покрутил в руках и тоже убрал.

Иван смотрел внимательно.

Сосредоточенно.

Как тогда — на сахар.

Как в буфете — на деньги.

— Чего стоишь? — вдруг сказал мужчина, не поднимая головы.

Иван вздрогнул.

Он не ожидал, что его заметят.

— Просто... — начал он и замолчал.

Мужчина выпрямился, посмотрел на него внимательно, прищурившись, как будто пытался определить, с кем имеет дело.

— Учишься, что ли? — спросил он.

Вопрос прозвучал странно.

Но точнее, чем любой другой.

Иван не ответил.

Но не ушёл.

— Бутылки сдаёшь — деньги дают, — сказал мужчина, словно объясняя очевидное. — Не много. Но дают.

Иван кивнул.

Он знал это.

Слышал.

Но никогда не воспринимал как что-то, относящееся к нему.

До этого момента.

— Только бегать надо, — добавил мужчина. — И не стесняться.

Последние слова прозвучали чуть тише.

Как предупреждение.

Как условие.

Иван развернулся и пошёл дальше.

Но мысль уже зацепилась.

Плотно.

Он поднялся в квартиру, где снова было полутемно — свет включили только в одной комнате, и то слабый, экономный, как будто его тоже нужно было беречь; мать сидела за столом, считала какие-то мелкие деньги, перекладывая их из одной кучки в другую, и в этом движении было что-то напряжённое, почти болезненное, как будто каждая монета имела не только номинал, но и вес.

Иван остановился в дверях.

Смотрел.

Молча.

Он вдруг понял, что видел это десятки раз, но никогда не задавал себе вопроса — откуда эти деньги берутся, почему

их всегда мало и почему их всегда считают так долго.

— Чего стоишь? — спросила мать, не поднимая головы.

— Ничего, — ответил он.

Но не ушёл.

Он продолжал смотреть на её руки, на монеты, на то, как она их перекладывает, как иногда задерживает пальцы на одной, словно не решаясь отнести её в «расход».

И в этот момент в нём что-то окончательно соединилось.

Деньги — это не только свобода.

Это напряжение.

Это выбор.

Это постоянный недостаток.

И если их мало — ты всё время считаешь.

Вечером он не сказал ничего.

Лёг спать раньше обычного, но долго не мог уснуть, прокручивая в голове увиденное — бутылки, мешок, слова «не стесняться», руки матери, монеты, буфет, пирожок, и всё это складывалось в одну простую, почти грубую мысль:

если деньги можно получить — значит, их можно достать.

На следующий день он вышел из дома раньше.

Не сказал зачем.

И сам до конца не был уверен.

Утро было холодным, воздух резал лёгкие, и двор ещё не проснулся — только редкие прохожие, спешащие по своим делам, и те же мусорные баки, у которых теперь никого не было.

Он подошёл ближе.

Остановился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.